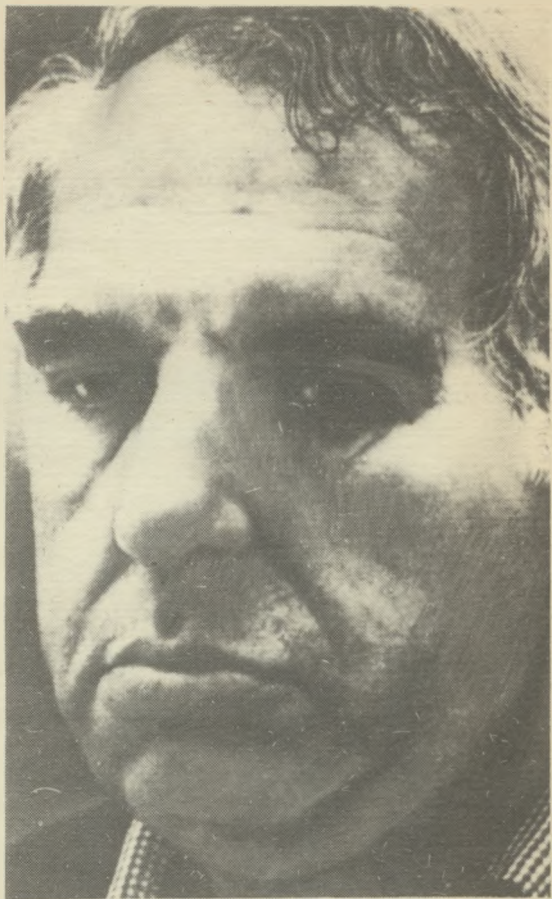


БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095

ОГОНЁК

МОСКВА



№ 2 1991

Евгений РЕЙН

НЕПОПРАВНЫЙ ДЕНЬ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 2

Издается с января 1925 года

Евгений РЕЙН

НЕПОПРАВИМЫЙ
ДЕНЬ

СТИХИ

Москва. 1991

Евгений РЕЙН

Евгений Борисович Рейн родился в 1935 году в Ленинграде. В 1959 году окончил Технологический институт со специальностью инженер-механик. Работал в КБ, на заводах, в геологической партии.

Первые стихи опубликовал в 1962 году. Автор книг «Имена мостов» (1984), «Береговая полоса» (1989), «Темнота зеркал» (1990).

Кроме того, Евгений Рейн — автор многих киносценариев, очерков и рецензий, а также нескольких книг для детей.

В сборник «Непоправимый день» вошли стихи из разных книг.

Снимок на обложке Михаила Лемхина (США).

В СТАРОМ ЗАЛЕ

В старом зале, в старом зале
над Михайловской и Невским,
где когда-то мы сидели
то втроем, то впятером,
мне сегодня в темный полдень
поболтать и выпить не с кем —
так и надо, так и надо,
и, по сути, поделом.
Ибо, что имел — развеял,
погубил, спустил на рынке,
даже первую зазнобу, даже лучшую слезу.
Но пришел сюда однажды
и подумал по старинке:
все успею, все сумею, все забуду, все снесу.
Но не тут, не тут-то было —
в старом зале сняты люстры,
перемешана посуда, передвинуты столы,
потому-то в старом зале
и не страшно, и не грустно,
просто здесь в провалах света
слишком пристальны углы.
И из них глядит такое, что забыть не удастся —
лучший друг, и прошлый праздник, и неверная жена.
Может быть, сегодня это наконец-то разобьется
и в такой вот темный полдень будет жизнь разрешена.
О, вы все тогда вернитесь, сядьте рядом, дайте слово
никогда меня не бросить и уже не обмануть.
Боже мой, какая осень! Наконец, какая проседь!
Что сегодня ночью делать? Как мне вам в глаза
взглянуть!

Этот раз — последний, точно, я сюда ни разу больше...
Что оставил — то оставил, кто хотел — меня убил.
Вот и все: я стар и страшен, только никому не должен.
То, что было, все же было. Было, были, был, был, был...

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

Под черным лабрадором лежат мой дед и бабка,
среди охтенских суглинков, у будки сторожей.
Цветник их отбортован и утрамбован гладко,
поскольку я здесь не был сто лет — и он ничей.
В свой срок переселились с безумной Украины
они, прельстившись нэпом, кроить и торговать,
под петроградским небом купили половину
двухкомнатной квартиры и стали проживать.
Гремит машинка «Зингер», Зиновьев пишет письма,
мой дед торгует платьем в Апраксином ряду,
и словно по старинке — пирожные в корзинке —
приносит по субботам, с налогами в ладу.
А жизнь идет торопко, от бани до газеты,
от корюшки весенней до елочных шаров.
Лети, лети, вагончик, в коммуне остановка,
футболка да винтовка — и пионер готов.
И все это отрада, встают, гудят заводы,
и дед в большой артели народу тапки шьет,
а ну, еще полгода, ну, крайний срок — два года, —
и все у нас наденут бостон и шевиот.
Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре
сжимает Николаев московский револьвер,
и Киров на подходе, и ГПУ в угаре,
и пишет Немезида графу «СССР».
А дед и бабка рады, начальство шьет наряды,
приносит сыр и шпроты, ликер «Абрикотин»,
границы на запоре, и начеку отряды,
и есть кинотеатры для звуковых картин.
А дальше — все как надо —
обида и блокада.
И деда перевозят по Ладоге зимой,
и даже Немезида ни в чем не виновата,
она лишь секретарша. О, Боже, Боже мой!
Теперь в глубоком царстве они живут, как могут,
Зиновьев, Николаев, Сосо и лысый дед,
и кто кого под ноготь, и кто кого за локоть,
об этом знает только подземный ленсовет.
А я стою и плачу, что знаю, что я значу?
Великая судьбина, холодная земля!
Все быть могло иначе, но не было иначе,
за все ответят тени, забвенья шевеля.

«...И В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДА...»

*«Через одну личность средних лет
вы получите большую радость.
Совершайте начатое дело.
В трудный час Вам помогут».*

(Из гадательного билета)

Мне морская свинка нагадала
Ровно тридцать лет тому назад
Где-то у Обводного канала,
Где вокзал и где районный сад.
Там по воскресеньям барахолка
Составляла тесные ряды.
В тех рядах я разбирал подолгу
Модернистов ветхие труды.
Мне там попадались: Северянин,
«Аполлон», «Весы», «Гиперборей»,
И томился вечер у окраин
Петроградской юности моей.
Торговали книгами, играли
В карты и крутили патефон.
Там-то мне как раз и нагадали
Долгий путь под гулкий перезвон
Довоенных джазиков гавайских,
Медленного «Танго соловья».
Белой ночью и в потемках майских
На дорогу эту вышел я.
«Совершайте начатое дело,
Кто-то вам поможет в трудный час».
И печально свинка поглядела,
Рафинад поймала, изловчась.
Видно, что-то знала эта свинка,
Только не хотела рассказать.
И вопила старая пластинка,
Что пора бы руки нам пожать.
Это пел неугомонный Козин,
И гремел разболтанный трамвай.
Помню я, как, весел и серьезен,
Веял кумачами Первомай.
Помню я, что навсегда приметил
Эту свинку и ее совет.

Никогда никто мне не ответил,
Угадала свинка или нет.
Кто помоги мне в бедный, пылкий, трудный,
В три десятилетия долгий час?
Может быть, от свинки безрассудной
Вся моя удача началась?
Белой ночью, сумрачною ранью
Дешево купили вы меня,
И лежит билетик ваш — гаданье
В книге Михаила Кузмина.

НАД ФОНТАНКОЙ

Над Фонтанкой развал и разруха,
Дом на Троицкой тоже снесен,
Вылезает мерзавец из люка —
Волосат, до пупа обнажен.
На груди его синею вязью —
Серп и молот, двуглавый орел,
Самогоном набухли подглазья,
На висках золотой ореол.
Душной ночью идет он к собору,
На облешую бронзу плюет
И навстречу родному простору
Ненавистную песню поет.
Капитальный ремонт и разруха,
Довоенная заваль и дичь,
ГПУ, агитпроп, голодуха
Залегли под разбитый кирпич.
И оттуда тяжелою пылью
На развалины села мои —
Отлетающая эскадрилья
В боевой предрассветной крови.
Рассыпайся же, многоэтажный
Дом презрения, кражи и лжи,
Невский сумрак, сырой и бесстрашный,
Заползает в твои этажи.
Возвращайся, дитя и бродяга,
В подворотню, где баки гниют.
Все что надо — судьба и отвага —
Этой ночью тебя признают.

Дом на Троицкой — темные флаги
На развалинах веют, клубясь,
И летят в подворотню бумаги,
Чернокнижьем твоим становясь.

ПАМЯТИ ВИТЕБСКОГО КАНАЛА В ЛЕНИНГРАДЕ

А. Кушнеру

Здесь был канал. Последний раз я видел
лет шесть назад, смешавшийся с рекой.
Зловонный, липкий, словно отравитель,
циан расположивший под рукой.

В послевоенных сумерках мелькая,
его волна катила времена,
и мелкая, но, в сущности, рябая,
она в Фонтанку падала до дна.

Она была настолько тяжелее
чужой воды, и, верно, был резон
зарыть канал; но я его жалею,
и для меня не высыхает он.

Сюда от Царскосельского вокзала
я приходил; мне помнится вокзал,
я пропускал трамваи, как раззява,
канала никогда не пропускал.

Над ним электростанция дымилась,
морская академия жила,
и все, что было мило и немило,
его вода навеки унесла.

Весь этот век, когда мы победили,
всю эту жизнь, что проиграли мы,
прожекторы, которые светили
на лозунги среди глухой зимы.

В ночном бушлате, бутсах и обмотках
курсанты погружались в катера,
и карабины брякали на скобках,
на этих сходнях в пять часов утра.

Я это видел сам и не забуду,
меня война сгубила и спасла.
Она со мной и мой канал — покуда
я жив еще, до смертного числа.

Закопан, утрамбован по уставу,
и все-таки на свете одному
дай мне воды запить мою отраву,
канал, как Стикс впадающий в Неву.

СОСЕД ГРИГОРЬЕВ

Нас двое в пустынной квартире,
Затерянной в третьем дворе.
Пока я бряцаю на лире,
Он роется в календаре,
Где все еще свежие краски
И чьи-то пометки видны.
Но это касается русско-
Японской забытой войны.
Ему уже за девяносто
(Куда его жизнь занесла —
Придворного орденоносца,
И крестик его «Станислав»!),
Придворным он был ювелиром,
Низложен он был в Октябре.
Нас двое, и наша квартира
Затеряна в третьем дворе.
А он еще помнит заказы
К светлейшему дню именин.
Он помнит большие алмазы
И руки великих княгинь.
Он тайные помнит подарки,
Эмаль и лазурь на гербах,
И странные помнит помарки
На девятизначных счетах.
Когда он, глухой, неопрятный,
Идет, спотыкаясь, в сортир,
Из гроба встает император,
А с ним и его ювелир.
И тяжело ему. Но полегче

Вздыхает забытый сосед,
Когда нам приносят повестки
На выборы, в суд и Совет.

Я славлю тебя, Государство!
Твой счет без утрат и прикрас,
Твое золотое упрямяство,
С которым ты помнишь о нас.

В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ

Памяти А. А. Ахматовой

В Павловском парке снова лежит зима,
и опускается занавес «синема».
Кончен сеанс, и пора по домам, домам,
«то-то оплывший снежок разломил пополам.
Снова из Царского поезд застрял в снегах,
падает ласково нежный вечерний прах,
и в кармельном огне снова скользят каток,
снова торгует водой ледяной лоток.
Сколько не видел я этого?
Двадцать, пятнадцать лет? Думал — ушло, прошло,
но отыскался след.
Вот на платформе под грохот товарняка
жду электричку последнюю — будет, наверняка.
Вон у ограды с первой стою женой,
все остальные рядом стоят со мной.
Ты, мой губастый, славянскую хмуришь бровь,
смотришь с опаской на будущую любовь —
как хороша она в вязаном шлеме своем, —
будет вам время, останетесь вы вдвоем.
Ты, моя пигалица, щебечущая кое-как,
вечный в словах пустяк, а в голове сквозняк.
Что ты там видишь за павловской пеленой —
будни и праздники, понедельничный выходной?
Ты, настороженный, рыжий, узлом завязавший шарф, —
что бы там ни было — ты справедлив и прав!
Смотрит в затылок твой пристально Аполлон,
ты уже вытянул свой золотой талон.
Ты, мой брюнетик, растерзанный ангелок.
Что же? Приветик. Но истинный путь далек.
Через столицы к окраинному шоссе.

Надо проститься. А ну, подходите все!
Глянем на Павла, что палкой грозит, курнос.,
Что-то пропало, но что-нибудь и нашлось!
Слезы, угрозы, разграбленные сердца,
прозы помарки и зимних цветов пыльца.
Чашечка кофе и международный билет —
мы не увидимся, о, не надейтесь, нет!
Ты, моя бедная, в новом пальто чудном —
что же мне делать? Упасть на снега ничком?
В этом сугробе завывать, закричать, запеть?
Не остановитесь. Все уже будет впредь.
Падают хлопья на твой смоляной завиток —
я-то все вижу, хоть я негодай, игрок.
Кости смешаю, сожму ледяной стакан,
брошу, узнаю, что я проиграл, болван,
взор твой полночный и родинку на плече —
я не нарочно, а так, второпях, вообще.
В Павловском парке толпится девятка муз,
слезы глотает твой первый, неверный муж.
В Павловском парке вечно лежит зима,
падает занавес, кончено «синема».
Вот я вбегаю в последний пустой вагон,
лишь милицейский поблескивает погон, —
сядь со мной рядом, бери, закури, дружок,
над Ленинградом кто-то пожар зажег, —
тусклого пламени — время сжигает все,
только на знамени Бог сохраняет все.

ЭЛЕКТРИЧКА НОЛЬ-СОРОК

В последней пустой электричке
пойми за пятнадцать минут,
что прожил ты жизнь по привычке,
кончается этот маршрут.

Выходишь прикуривать в тамбур,
а там уже нет никого.
Пропойца, спокойный, как ангел,
тулуп расстелил наголо.

И видит он русское море,
стакан золотого вина,
и слышит, как в белом соборе
его отпевает страна.

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ

На теплоходик «Волгобалт»
я провожал жену и сына.
Нас словно кто-то оболгал,
и маялась душа, повинна.
Вокруг шумел речной вокзал,
но в ресторане было пусто,
сквозняк над нами полоскал
паласы, и качалась люстра.
А сталинский могучий флот
несокрушимою эскадрой
свершал последний переход
на фреске тесной и нарядной.
Флажками говорил «Марат»,
и желтый адмиральский катер
мутил меня, что лимонад,
покуда плыл за дебаркадер.
Флот уходил в последний бой:
«Гангут» пылал, «Марат» дымился,
и я разгромлен был судьбой
и нестерпимо утомился.
Я думал мальчику сказать,
что виноват, и взять на плечи,
но трудных губ не мог разжать
и поступил куда полегче.
Купил пирожных, и пивка,
и заливную осетрину,
и вот теперь, издалека,
что я скажу об этом сыну?
Прости, что падший адмирал
губами не припал к матроске
твоей, что мало целовал
твои горячие ладошки.
Прости, разболтанный линкор
забыл в сраженье об эсминце,
и опрокинутый ликер
залил на галстике «Вестминстер».
Милорд, матросик мой, малыш,
запомни этот день в норд-весте.
Я знаю — ты не укоришь
меня в обдуманном злодействе.

Но сам себе я говорю:
«О, деточка, милорд, матросик,
за то я и сейчас горю,
что слышу долгий отголосок
невнятной жалобы твоей».
Вот до отплытия минута,
и грохот якорных цепей,
и гибель старого «Гангута».

АВАНГАРД

Это все накануне было,
почему-то в глазах рябило,
и Бурлюк с раскрашенной рожей
Кавальери казался пригожей.
Вот и Первая мировая...
Отпечатана меловая
символическая афиша,
бандероль пришла из Парижа.
В ней туманные фотоснимки,
на одном — Пикассо в обнимку
с футуристом Кусковым Васей,
на других натюрморты с вазой.
И поехало, и помчалось —
кубо, эго и снова кубо,
начиналось и не кончалось
от Архангельска и до юга,
от Одессы и до Тифлиса,
ну, а главное, в Петрограде —
все как будто бы заждались:
«Начинайте же, Бога ради!»
Из фанеры и из газеты
тут же клеивались макеты,
теоретики и поэты
пересчитывали приметы:
«Начинается... вот он... прибыл...
послезавтра, вчера, сегодня!»
А один говорил «дыршилбыр»
в ожидании гнева Господня.
Из картонки и из клеенки
по две лесенки в три колонки,
по фасадам и по перилам

Казимиром и Велимиром.
И, когда они все сломали
и везде не летал «Летатлин»,
догадались сами едва ли
с гиком, хохотом и талантом
в Лефе, в Камерной на премьере,
среди наркомов, речей, ухмылок
разбудили какого зверя,
жадно дышащего в затылок.

ВОСПОМИНАНИЯ В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СЕЛЕ

Где Петр собирал потешные полки,
Где управдом Хрущев унизил потолки,
В Преображенском я кончаю дни свои,
И никуда меня отсюда не зови.
Не будет ничего, не надо никогда,
Стоит перед окном апреля нагота,
У входа в магазин так развезло газон,
Когда я подхожу, знакомый фармазон
Спешит мне предложить вступить в триумvirат.
Выходит, надо жить, не стоит умирать.
Так сыро, так темно, так скоро жизнь прошла...
Когда случилось все, которого числа?
А свет под фонарем лупцует по глазам,
И поздно злобный вой отправить небесам.
Когда петровский флот со стапеля сходил,
И наливался плод от европейских -жил,
Державин громоздил, а Батюшков хандрил,
Какой подземный ход тогда ты проходил?
Преображенец прав, а правнук так курнос,
И, верно, Летний сад за двести лет подрос.
От замка напрямик не разгадать Москвы
И не смягчить владык обиды и молвы.
Когда Ильич грузил в вагоны совнарком,
Когда Сергей повис в петле над коньяком,
Когда генсек звонил Борису вечером,
Ты отвалил уже свой черноземный ком?
Над люлькою моей приплясывал террор,
Разбился и сгорел люфтваффе метеор,
Скользил через мосты полуживой трамвай,
Шел от Пяти Углов на остров Голодай.
С площадки я глядел, как плавится закат —

Полнеба — гуталин, полнеба — Мамлакат,
Глухая синева, персидская сирень
И перелив Невы, вобравшей светотень,
Я на кольце сходил, где загнивал залив,
Где выплывал Кронштадт, протоку перекрыв,
И малокровный свет цедил Гиперборей,
Тянуло сквозняком от окон и дверей,
Прорубленных моей империей на вест,
Задраенных моей империей на весь
Мой беспробудный век. На мелководье спит,
Я видел, кит времен. Над ним Сатурн висит.
На бледных облаках тень тушью навела
Монгольскую орду и кровью провела
Кривой меридиан от рыла до хвоста...
Так, значит, все, что есть и было, — неспроста?
И леденел залив под утренней звездой,
И новый черновик засеял лист пустой,
И проступал на нем чертеж или чертог...
И кто-то мне сказал: «итак» или «итог».
Но я не разобрал, хотелось пить и спать,
Помалкивала сталь, и надо было ждать
На утреннем кольце. Ждать — это значит жить,
Представить, предсказать, прибавить, отложить...
Ты знаешь, но молчишь — заговори, словарь.
Я сам себе никто, а ты всему главарь,
И ты, моя страна, меня не забывай
На гиблом берегу — пришли за мной трамвай,
Квадригу, паровоз и, если надо, танк,
И двинем на авось с тобой, да будет так!
В Преображенском хлябь, размытая земля...
А ну, страна, ослабь воротничок Кремля.
Как дети, что растут в непоправимом сне,
Откроем мы глаза в совсем иной стране.
Там соберутся все, дай Бог, и стар и млад,
Румяная Москва и бледный Ленинград,
Князя Борис и Глеб, древлянин и помор,
Араб и печенег, балтийский военмор,
Что разогнал Сенат в семнадцатом году,
И преданный Кронштадт на погребальном льду.
Мы все тогда войдем под колокольный звон
В Царьград твоей судьбы и в Рим твоих времен!

СОСЕД КОТОВ

В коммунальной квартире жил сосед Котов,
Расторопный мужчина без пальца.
Эту комнату слева он отсудил у кого-то,
Он судился, тот умер, а Котов остался.

Каждый вечер на кухне публично он мыл ноги
И толковал сообщения из вечерней газеты «Известия».
А из тех, кто варили, стирали и слушали, многие
Задавали вопросы — все Котову было известно.

Редко он напивался. Всегда в одиночку, и лазил...
Было слышно и страшно, куда-то он лазил ночами.
Доставал непонятные и одинокие вазы,
Пел частушки, давил черепки с голубыми мечами.

Он сидел на балконе и вниз, улыбаясь, ругался,
Курил и сбрасывал пепел на головы проходящих.
Писем не получал, телеграмм и квитанций пугался
И отдельно прибил — «А. М. КОТОВ» — почтовый ящик.

Летом я переехал. Меня остановят и скажут:
— Слушай, Котова помнишь? Так вот, он убийца,
Или вор, или тайный агент... — Я поверю. Мной нажит
Темный след неприязни. За Котова нечем вступиться.

За фанерной стеной он остался неясен до жути.
Что он прятал? И как за него заступиться?
Впрочем, как-то я видел: из лучшей саксонской посуды
На балконе у Котова пили приبلудные птицы.

НИНЕЛЬ

В те времена она звалась Нинель
звучало «Нонна» как-то простовато.
Все просыпалось, и цветенья хмель
нам головы дурил и вел куда-то.
Студентка иностранных языков,
она разгрызла первые романы,
и наконец Сережа Васюков,
как некий шкипер, выплыл из тумана.
Он по-французски назывался Серж,

и он пробил годов каменоломню,
я с ним дружил, и все-таки, хоть режь,
как это получилось, не припомню.
Он появился сразу, он вошел
в зауженных портках и безрукавке,
и с самого начала превзошел
всех остальных беседами о Кафке.
Он где-то жил в подвале на паях
с другим таким же футуристом жизни.
Они исчезли. Заклубился прах,
и нету их давно в моей отчизне.
Она осталась и звалась Нинель,
и декадентским мундштуком играет,
она преодолела канитель,
взяла барьер. Довольна ли? Бог знает.
Я помню, как в расширенных зрачках,
где кофеин перемешался с кайфом,
я отражался и почти зачах
в ее унылой комнатке за шкафом.
На одеяле, вытертом дотла,
на черной неприкаянной кровати
мы подружились, и она была
порой нежна и своенравна кстати.
Но бедность, бедность, черствый бутерброд
и голоса соседей через стенку —
ей наплевать, она кривила рот,
презрительно играя в декадентку.
Но почему играя? Самый ствол,
все то, что потаенно, а не мнимо,
все сны, повадки, чувственность и пол —
все было декадентством в ней, помимо
простонародной силы и ума,
полученных в наследство, точно слепок,
как наша суть, как наша жизнь сама
от государства первых пятилеток.
Она переметнула шаткий мост
от Незнакомки или Гедды Габлер
сюда, где гений и больной прохвост
Серж Васюков почти ее ограбил,
все отобрал — корниловский сервиз
и две картины снес в комиссионку,
и все-таки он продвигался вниз,
торчал, сидел и отрулил в сторонуку.
Не то она. Она взяла свое,
она прошла в газеты и журналы.
Теперь уже французское белье,
загранка, Нотр-Дам и тадж-махалы.

Невнятные, но бодрые стихи,
рассказы для детей, инсценировки,
а там в пятидесятых все грехи,
все бездны до последний рокировки.
И все-таки... Я видел, как она
мундштук подносит к вытянутым губкам,
как мертвенно и траурно бледна
сидит в застоле и внимает шуткам,
как подбирает на ночь портача
из молодых литературных кадров,
и, оживляясь вдруг и хохоча,
предсказывает правду, как на картах.
Ах, декадентка... Боже, Боже мой,
куда все делось, нет ее «Собаки
бродячей», и отметки ножевой
не оставляет Балашев* во мраке,
не хлещет портер одичалый Блок,
и Северянин не чудит с ликером.
Закрото навсегда и под замок
то смутное предчувствие, с которым
когда-то мы вошли и разбрелись,
и все случилось просто и резонно,
и все забыто. И остались лишь
твой жадный смех и твой мундштук,
о Нонна!

СИРИУС НАД МААСОМ

Глядя на берег Мааса, где стройки железобетон...
Боже, какая гримаса в этом пейзаже речном.
В старом пустом ресторане, где вывален век либерти,
что-нибудь хоть Христа ради, но выпроси, приобрети.
Дайте мне рюмку ликера, дайте шпината еще,
вздора, фурора, фарфора, но только еще и еще.
Пылко дышали тарелки, «веджвуд» с копченым угрем,
выдумка смерть и безделка, может быть, мы не умрем.
Может быть, вечным обедом нас на террасе займут,
ибо ответ нам неведом, ибо свидетели врут.
Так оскорбительно глупы, можно сказать, что глупы
рябчиков тухлые трупы, устрицы, раки, супы.
Тихие флаги речные мимо уносит Маас,

* А. Балашев в состоянии психоза изрезал холст И. Репина.

тени и пятна ночные. Сириус смотрит на нас.
Будь же ты проклято, небо, демон распятой земли,
если за корочку хлеба мы тебя приобрели.

ЕЛИСЕЕВСКИЙ

Здесь плыла лососина,
как регата под розой заката,
и судьба заносила
на окорок руку когда-то,
и мерцала огранка
коньячного нежного зноя,
и казала таранка
лицо всероссийски речное.
Я сюда приходил
под твои сталактиты барокко,
уходя, прихватил
от норд-веста и юго-востока
то, что знаю и помню
и чем закушу рюмку Леты;
только что-то сегодня
просрочены эти билеты.
Елисеевский, о!
Темнотою зеркал ты мне снишься.
Высоко-высоко
ты под буйные своды теснишься.
Ничего-ничего,
это было и, значит, со мною,
никуда не ушло,
ни за что не прошло стороною.
Стоит сунуть десятку
в твою золотую кабину,
и глубокую шапку
я снова на уши надвину.
Поглядит на меня продавщица
в бессмертном отделе.
Что ж, она отлучиться
могла, да и эти огни прогорели.
Я последним стою,
и звенит колокольчик «закрыто»...
Ни фортуна, ни злоба,
ни даже пустая обида —
сыпь мне мелочь,

верни наконец распоследнюю сдачу,
а умру — помяни,
и в ответ я невольно заплачу.
Потому что здесь был пресловутый
эдем нашей жизни,
потому что не место
ни каверзе, ни укоризне,
там, где дали кусок,
и налили граненый стаканчик,
где ломался басок
и бывал неуживчивый мальчик.
Не за жир и витрины,
а за истину истинной веры
и за Екатерину,
что глядела в огромные двери,
я запомнил тебя
кафедральным амбаром, собором,
и гляжу на тебя сиротой,
но совсем не с укором.
Было, было — прошло
и уже никогда не настанет,
осетрина твоя
на могучем хвосте не привстанет,
чтобы нам объявить:
«Полкило нарезаю потолок».
Это все хорошо,
что так бедно, угрюмо и тоще,
это все ничего,
если время и знамя упали,
даже лучше всего
пустота в этом оперном зале.

КАТОК «СПАРТАК»

На памятном бульваре
Прекрасный холодок.
Зима уже в ударе,
Опять открыт каток.

За полчаса стемнеет,
Фонарики зажгут.
Сильнее сатанеет
Спартакровский лоскут.

На поле темно-красном
Светла диагональ.
И было в с е напрасным —
Но только э т о жаль.

КОЛЬЦО «Б»

Суета сует,
толчея толчей.
Предзакатный свет,
твой и мой — ничей.
Мой троллейбус «Б»,
почему не «А»?
Говорю тебе,
что всему хана.
А куда пойдешь,
разве на вокзал?
Но не суматошь,
глянь, как сумрак ал.
На него падет
ночь темней ночей,
это наш оплот:
твой и мой — ничей.
Поведи меня
на чужой чердак,
отпусти меня
просто, просто так.
Ты меня умней
в девятнадцать лет,
глянь — из-за дверей
беспробудный свет!
У меня пальто —
шелковистый кант,
купим то и то
и развяжем бант.
В шесть утра опять
на троллейбус «Б».
Подойди, погладь —
говорю тебе.

ДОМ МУРУЗИ

Возле храма св. Пантелеймона у вокзала,
где толпа красавца-антиленинца растерзала,
дом доходный, девятиэтажный, в мавританском стиле,
кто с достатком, да и те, кто с блажью, там и жили.
Анфилады зал, гостиных, кабинеты, спальни,
а на именинах, на крестинах так хрустальные
эти баккара, бокалы, рюмки, вазы,
эти броши-розы, броши-лунки, бриллианты, стразы.
Там была квартира в бельэтаже — вид на церковь.
И когда-то в ней бывали даже Фет и Чехов,
Соловьев, Леонтьев и Бердяев, и Бугаев,
и немало также благородных разгильдяев.
А какие пирожки, эклеры, а ботвиньи!
Даже анархисты и эсеры не противны.
С этого балкона так удобно виден-митинг,
и швейцар расспросит: «Что угодно-с?» — ражий викинг.
Но куда-то он исчез однажды (говорят, в эсдеки),
под балконом, головы задравши, человеки
все кричали: «Накося и выкуси по-таковски!»
Горячо им возражали Гиппиус и Мережковский.
Но матросы с золотом на ленточках, в буром клеше,
отзывались об антиленинцах еще плоше.
Были все резоны перелистаны — мало толку.
А ВИКЖЕЛЬ ручищами землистыми разводил и только.

* * *

Н.

Братя, пустите домой,
Черное платье — долой,
Дайте воды и вина,
Ночь наконец не видна,
Пылкий плывет абажур,
Много, но не чересчур.
Черное это белье
Все ж не черней, чем былье.
Кожа и лайка твоя,
Ах, ты, зазнайка моя.
Пусть нам Вертинский споет,
Скрябин по клавишам бьет,
Сверху бубновый валет.

«Да, — говорю тебе, — нет».
Поздно приходит любовь,
Поздно расходится кровь,
Кровь у тебя на губах,
Спи у меня в головах.
Падает тонкий стакан,
Валится аэроплан,
Тонет британский линкор,
Выльется на коленкор
Самый последний глоток,
Дай мне забыться, дружок.

АЛЬБОМ МОДИЛЬЯНИ

Всякий раз, открывая альбом Модильяни,
я тебя узнаю, но не с первого взгляда.
На продавленном нашем кошмарном диване
ты вздремнула, и вмешиваться не надо.

В неумытом окне не пленэр Монпарнаса —
ленинградские сумерки в бледном разливе,
вечный вклад сохранила на память сберкасса,
но даёт по десятке в несносном порыве.

Надо долго прожить, надо много припомнить,
и тогда лабиринт выпускает на волю
эту мягкую мебель разрушенных комнат,
что была нам укромной и верной норой.

И стена восстает из холодного праха,
и гремит колокольчик полночного друга:
«Открывай поскорее, хозяин-рубаха,
эта смерть незаметна и легче испуга».

Собирается дождь над Фонтанкой и Невкой,
и архангел пикирует с вестью благою,
и на кухне блокадник шурует манеркой,
просыпайся и сонной кивай головою!

Ты не знаешь еще — все уже совершилось,
и описано в каждом поганом романе.
Я молился, и вышла последняя милость —
это жгучее сходство с холстом Модильяни.

Мы ушли так далеко,
мы ушли так далеко
От холодного моря, от девятого «А».
Но прислушайся, снова
нас везут в Териоки,
И от этой тревоги вокруг идет голова.
Без тоски, без печали, на куски размечали
Нашу жизнь,
и границы выставляли столбы,
То, что было вначале
без тоски, без печали...
Ничего, доберемся,
это без похвальбы.
И холодное море, пионерские пляжи,
Пионерские пляжи, крик сигнальной трубы.
Сколько лжи,
сколько блажи,
Все вернется и даже,
Даже наши пропажи,
даже наши труды.
И когда нежно с морем
утомленное солнце
С морем нежным откроет нам заветный секрет,
И когда нам помашут териокские сосны,
Мы поймем и увидим,
и увидим, что нет.
Больше не было солнца,
больше не было моря —
Все осталось, как было,
только там —
навсегда.
Териокские сосны нам кивнут возле мола,
И погаснет картинка —
ничего, не беда.
Утомленное солнце нежносно выйдет снова,
Мы узнаем друг друга на линейке в саду.
Будет снова красиво,
будет снова сурово.
Утомленное солнце в сорок пятом году.

АВСТРО-ВЕНГРИЯ

*«Да выковыривает плуг
Пуговицу с орлом».
Эдуард Багрицкий*

На железнодорожной станции венгерской
В толчее денек,
А из-за ограды тычется железный
Траурный венок.
«Был здесь, — говорят мне, — госпиталь военный
В тех сороковых».
Сколько же забытых, сколько незабвенных,
Мертвых и живых!
Пыльною травкою поросло все это
В цвет сухих небес.
Пролетают мимо посредине лета
«Форд» и «мерседес».
«Здесь была казарма при имперском иге, —
Объясняют мне. —
И артиллеристы дыбили квадриги
В этой стороне».
Бакенбарды Франца и штиблеты Швейка,
Вот и ваш черед!
Заросла в ограде кладбища лазейка,
Солнышко печет.
Полегла Европа в рыхлые траншеи,
Проиграл Берлин.
Только я не знаю ничего нежнее
Этих именин.
Девочки Европы в горбачевских майках —
Чудо из чудес.
Мальчики Европы в шортиках немарких,
«Форд» и «мерседес».
Что же я глазею, старый иностранец,
Тент мой полосат.
Пусть меня охватит нежный их румянец,
Легкий их азарт.
О, как бесконечно долго я не видел
Этой суеты.
О, как тихо тронул европейский ветер
На венке цветы.
Не припасть навеки черными губами
В полосатый шелк.
Только б расплатиться мелкими деньгами
За уют и долг.

И венок трепещет траурною лирой,
И слепит Дунай.
Пользуйся, товарищ, этой жизнью сирой,
Но не умирай.

«НОЧНОЙ ДОЗОР»

У «Ночного дозора» я стоял три минуты,
и сигнал загудел, изгоняя туристов.
Я бежал, я споткнулся о чекан Бенвенуто,
растолкал итальянок в голландских батистах.
Что-то мне показалось, что-то мне показалось,
что все это за мною, и мой ордер подписан,
и рука трибунала виска мне касалась,
и мой труп увозили в пакгаузы крысам.
Этот вот капитан — это Феликс Дзержинский,
этот в черном камзоле — это Генрих Ягода.
Я безумен? О нет, даже не одержимый,
я — задержанный, только с тридцать пятого года.
Кто дитя в кринолине? Это дочка Ежова.
А семит на коленях? Это Блюмкин злосчастный.
Подведите меня к этой стенке — и снова
я увижу ее и кирпичной и красной.
Заводите везде грузовые моторы,
пусть наганы гремят от Гааги до Рима.
Это вы виноваты, ваши переговоры
словно пули в десятку — в молоко или мимо.
И когда в Бенилюксе запотевшее пиво
проливается в нежном криветочном хламе,
засыпайте в ячменном отпаде глумливо,
ничего, ВЧК наблюдает за вами.
Вас разбудят приклады «Ночного дозора»,
эти дьяволы выйдут однажды из рамы.
Это было вчера, и сегодня, и скоро...
И тогда мы откроем углы пентаграммы.

ПОД ГЕРБАМИ

Все сбывается: тент и стакан «хайнекена»,
и хмельная ухмылка того манекена,
что глядит на меня из соседнего «шоба»,
невезуха, разруха, Россия, Европа...

Вот на ратуше блещут гербы Роттердама,
отчего ж я теперь повторяю упрямо:
«Ничего не хочу, не умею, не надо».
Невезуха, разруха, блокада, досада.
Все верните, проклятые демоны суток,
обновите мне плоть, обманите рассудок,
пусть покроются коркой рубцы и стигматы.
Боже, Боже, ты видишь, мы не виноваты!
Дайте мне ленинградскую вонь продувную,
отведите меня на Фонтанку в пивную,
пусть усядутся Дима, и Толя, и Ося,
и тогда я скажу: «Удалось, удалось!»
Будь ты проклята, девка, тоска и отравы,
моя вечность налево, твоя вечность направо.
Так подскажем друг другу кое-что по секрету,
поглядим на прощанье на Мойку, за Лету,
за толпу серафимов, Магомета и Будду.
Ты меня не забудешь, я тебя не забуду.
Там, за временем вечным, за эйнштейновым мраком,
всякий снова хорош, и нескладен, и лаком
на последнее слово, что молвить негоже,
на движок первопутка, что проходит по коже.

МУЗЫКА ЖИЗНИ

Музыка жизни — море мазута,
ялтинский пляж под навалом прибоя.
Музыка жизни — чужая каюта...
Дай же мне честное слово прямое,

Что не оставишь меня на причале,
Вложишь мне в губы последнее слово.
Пусть радиола поет за плечами,
ты на любые заносы готова.

Флейты и трубы над черным рассудком,
Черного моря и смертного часа —
этим последним безрадостным суткам,
видно, настала минута начаться.

Белый прожектор гуляет по лицам
всех, кто умрет и утонет сегодня,
музыка жизни, понятная птицам,
ты в черноморскую полночь свободна.

Бьются бокалы, и падают трапы,
из «Ореанды» доносится танго,
музыка жизни, возьми меня в лапы,
дай кислородный баллон акваланга.

Что нам «Титаник» и что нам «Нахимов»?
Мы доберемся с тобою до берега,
этот спасательный пояс накинув,
и по пути подберем человека.

В зубы вольем ему чистого спирта,
выльем на душу «Прощанье славянки»,
музыка жизни — победа, обида,
дай мне забвенья на траурной пьянке.

Слышу, что катит мне бочку Бетховен,
Скрябин по клавишам бьет у окраин,
вышли спасательный плот мне из бревен
старых органов, разбитых о камень.

Тонут и тонут твои пароходы,
падают мачты при полном оркестре,
через соленую смертную воду
пой мне, как раньше, люби, как и прежде.

* * *

Сергею Довлатову

Все те же ионические поленницы в старом окне
подсыхают к отопительному сезону.
Еще два-три визита сюда, и вполне
доживешь до заслуженного пенсионера.
И когда я приеду в последний раз,
чемодан подволакивая с одышкой,
то с порога, как водится, вспомню Вас,
в Вашей комнате, сильно от Вас отвыкшей.
Но здесь как-то сподручнее атлантический перелет,

и когда бы стать ангелом на небесном шпиле,
то увидеть можно среди болот
то чухонское место, где жили-были,
и затем на обратном конце дуги —
безымянный берег в засохшем гриме, —
только там ведь, где сношены сапоги,
босоногого детства дается имя.
Потому и вытягивается губа,
и не можешь позвать и назвать не в силах —
так, в прозрачных сумерках век сгубя,
доживаешь, как мерин, до бредней сивых.
Было время, и мы не сказали: «Ты...»
Календарь закрыт, и не будет завтра,
потому и набиты разлукой рты,
не вкусившие досыта брудершафта.

ЗА КРУЗЕНШТЕРНОМ

В. Беломлинской

Все как было. За стрелкой все те же краны,
лесовоз «Волгобалт» за спиной Крузенштерна,
только время все круче берет нас в канны
и вот-вот завершит окружение, наверно.
На моем берегу отлетела лепнина,
а на том перекрашен дворец в изумрудный...
На глазах этот город еще коллективно
завершает свой пасмурный подвиг безумный.
Он толкает буксир по густому каналу
и диктует забытые ямбо-хореи,
он хотел, чтоб судьбина его доконала —
как угодно, он шепчет: «Абы скорее!»
Для чего это все? Как чертил его зверский
императорский коготь на кожаной карте,
как вопил ему в ухо заросшее дерзкий
и ничтожный мятежник в смертельном азарте?
Для чего здесь Григорий загрыз Николая?
Отчего эта жилка до капельки бьется?
Поселение гуннов? Столица вторая?
Только первая! Ибо второй не живется.
Все уехали... Даже и я (что неважно),
никуда не прибьешься, ничего не изменишь.

Только в темном дворе окликаешь протяжно
и грозишь незнакомке, что до нитки разденешь.
А она-то согласна, но медлит чего-то...
Все пустое, как окна при вечном ремонте.
Будет срок — и повесят на Доску почета
или даже утопят в зачуханном понте.
Но когда я иду на Васильевский остров
и гляжу, как задымлено невшское небо,
я все тот же, все тот же огромный подросток
с перепутанной манией дела и гнева.
Объявляю себя военнопленным,
припаду к сапогам своего конвоя,
чтобы вечером обыкновеннолетним
одному за всех вспоминать бывшее.

СОДЕРЖАНИЕ

В старом зале	3
Преображенское кладбище в Ленинграде	4
«...И в дальний путь на долгие года...»	5
Над Фонтанкой	6
Памяти Витебского канала в Ленинграде	7
Сосед Григорьев	8
В Павловском парке	9
Электричка ноль-сорок	10
Речной вокзал	11
Авангард	12
Воспоминания в Преображенском селе	13
Сосед Котов	15
Нинель	15
Сириус над Маасом	17
Елисеевский	18
Каток «Спартак»	19
Кольцо «Б»	20
Дом Мурузи	21
«Братья, пустите домой...»	21
Альбом Модильяни	22
Ночь в Комарово	23
Нежносмо	23
Австро-Венгрия	25
«Ночной дозор»	26
Под гербами	26
Музыка жизни	27
«Все те же ионические поленицы в старом окне...»	28
За Крузенштерном	29

РЕЙН Евгений Борисович

НЕПОПРАВИМЫЙ ДЕНЬ

Стихи

Редактор О. Н. Хлебников

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

Сдано в набор 15.10.90. Подписано к печати 30.11.90. Формат 70 × 108^{1/2}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,40. Усл. кр.-отг. 1,58. Уч.-изд. л. 1,63. Тираж 94000 экз. Заказ № 2932. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1990 ГОДА
В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- № 27 О. ВИШНЯ, В. ЧЕЧВЯНСКИЙ. Ответственность момента.
- № 28 С. РАССАДИН. После потопа.
- № 29 Ю. ДАВЫДОВ. Тайная лига.
- № 30 К. БАРЫКИН. ...И хлеба — на копейку.
- № 31 Ю. КУБЛАНОВСКИЙ. Возвращение.
- № 32 П. КАПИЦА. О науке и власти.
- № 33 В. НЕКРАСОВ. Три встречи.
- № 34 К. БУЛЫЧЕВ. Апология.
- № 35 А. ЕРЕМЕНКО. Добавление к сопромату.
- № 36 И. КЛЯМКИН. Трудный спуск с зияющих высот.
- № 37 С. ЧУПРИНИН. Ситуация.
- № 38 Г. ПЛИСЕЦКИЙ. Пригород.
- № 39 М. БУЛГАКОВ. Под пятой.
- № 40 В. ТУРБИН. Прощай, эпос?
- № 41 Г. СВИРСКИЙ. Башкирский мед.
- № 42 К. БАРШТ. Подцензурные страсти.
- № 43 АРМИЯ И ПЕРЕСТРОЙКА. Сборник статей и выступлений по военным вопросам.
- № 44 Ю. МАРЦИНКЯВИЧЮС. Последние чудеса.
- № 45 Э. РЯЗАНОВ. Зазкране.
- № 46 ПИСЬМА В «ОГОНЕК».
- № 47 А. БЛОК. О назначении поэта.
- № 48 Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Свой круг.
- № 49 Л. ОЗЕРОВ. Аварийный запас.
- № 50 П. ГУТИОНТОВ. Игры на свежем воздухе застоя.
- № 51 А. НУЙКИН. Ох, социализм, социализм!..
- № 52 И. СЕЛЬВИНСКИЙ. Pro domo sua.